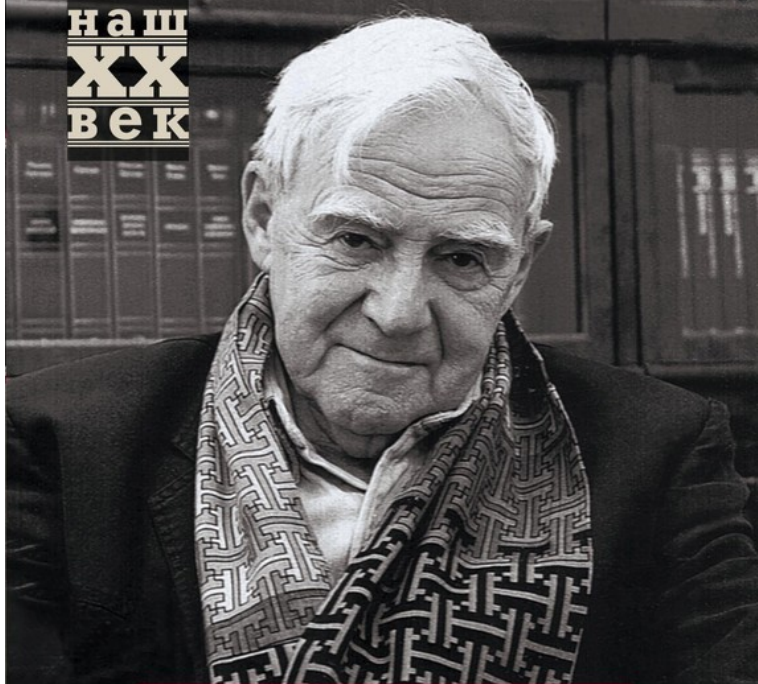


наш
XX
век



ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРАНИН



ПРИЧУДЫ
ПАМЯТИ

Даниил Александрович Гранин
Причуды памяти
Серия «Наш XX век»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26982006
Причуды памяти: Центрполиграф; Москва; 2017
ISBN 978-5-227-07663-2

Аннотация

Эту книгу Даниила Гранина нельзя отнести к какому-либо литературному жанру, в ней он отступил от своей привычной стилистики. Книга-размышление написана в форме кратких заметок, охватывающих промежутки времени от конца 30-х до наших дней. В этих изящных новеллах автору удалось передать гнетущую атмосферу послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. Беспощадны его мастерские «штрихи», рисующие современную действительность. Важные серьезные вещи перемежаются заметками из записных книжек об увиденном и услышанном – нелепом, смешном, анекдотичном...

Содержание

Непривычный Д. А. Гранин	5
Часть первая	8
Летний сад	9
Разведчик	14
1941 год	16
Лицо	18
Блокадная память	22
Барахолка	26
Тыл	30
Война	33
Взгляд	38
Рецепты Лихачева	40
Из суждений Д. С. Лихачева	42
Генетики	47
Памятник Михаила Аникушина	57
Совесь	61
На выставке (декабрь 1956 года)	76
Конец ознакомительного фрагмента.	79

Даниил Гранин

Причуды памяти

© Гранин Д. А., 2017

© ООО «РТ-СПб», 2017

© «Центрполиграф», 2017

* * *

Непривычный Д. А. Гранин

Представлять автора и предварять комментариями текст его произведения традиционно принято при литературных дебютах. В данном случае нужды в этом нет – уважаемое имя Д. А. Гранина давно и хорошо известно читающей публике.

Тем не менее есть повод нарушить традицию: предлагаемая вашему вниманию книга по структуре и стилистике разительно отличается от привычной для читателей классической повествовательной манеры писателя.

К какому жанру можно отнести этот объемистый и пестрый конгломерат произведений малых форм?

Мемуары? Нет. Звучит слишком пафосно применительно к этой странной книге. Хотя по сути почти верно. Ведь автор, и по сей день пребывающий не в последних рядах отечественного социума, пережил все перипетии новейшей истории нашей страны в эпохи от Сталина до Путина. Судьба подарила ему встречи (а с кем-то и дружбу) со многими незаурядными людьми. Ему есть что вспомнить, и он вспоминает...

Привычный стандартный ярлык «Из записных книжек» тоже абсолютно неприемлем. Хотя рабочие заготовки (лирические пейзажные зарисовки, подсмотренные житейские ситуации, слышанные благоглупости, лингвистические нелепости «великого и могучего» и т. п. и т. д., все то, что хра-

нится у сочинителей в «закромах» для грядущего использования) вкраплены весьма обильно. Контрастно сочетая «высокое» с «низким», автор перемежает ими основной текст (воспоминания, размышления, образы друзей), меняя ритм изложения.

Представляя объемистую книгу, неуместно пересказывать ее содержание. Но кое о чем можно коротко упомянуть.

Д. А. Гранин рассказывает о выдающихся современниках: О. Ф. Берггольц, Д. С. Лихачеве, М. К. Аникушине, А. Ф. Иоффе, Н. В. Тимофееве-Ресовском, Д. Д. Шостаковиче, А. Л. Минце, А. П. Александрове, Стивене Хокинге и многих других. Он затрагивает в своих размышлениях сложные философские вопросы мироздания, религиозной веры и неверия, смысла жизни человека, вечные вопросы понимания сущности нравственных категорий – совести, стыда, покаяния.

Конечно же, не только Бытие, но и советский быт представлены в книге, в том числе страшные подробности войны и ленинградской блокады, любопытные детали послевоенной жизни. Попутно повествуется «о руководящей роли компартии», о том, как политическая система деформировала личности творческих людей, понуждая большинство из них к конформизму.

Читая книгу Д. А. Гранина, не только интересно узнавать о том, что по разным поводам думает много переживший и повидавший мудрый человек. Книга побуждает к размыш-

лениям о себе, о собственной жизни и об окружающем мире.

Д. А. Гранин всей своей военной и трудовой жизнью, безусловно, заработал право на позицию наблюдателя. Надеемся, что он еще не раз порадует читателей новыми произведениями.

Издатели

Часть первая



Летний сад



Перед разлукой мы все трое встретились позади Домика Петра I за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на молоденькой траве.

Бен попал в зенитную часть, Вадим – в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастерок. Командирская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим: лихо сдвинутая фуражка, «фуранька», как называл он, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой; весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым, штатское еще не сошло с него, штатской была его печаль, никак он не мог одолеть горечь нашей предстоящей разлуки.

Я не шел ни в какое сравнение с ними: гимнастерка – б/у, х/б (бывшая в употреблении, хлопчатобумажная), на ногах – стоптанные ботинки, обмотки, и в завершение – синие диагональные галифе кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Спустя много лет я нашел старинную потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел вытащить нас троих из тьмы забытого последнего нашего свидания, и я увидел се-

бя – в том облачении. Ну и вид, и в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее, они возмущались тем, что неужели меня, вольноопределяющегося, как назвал Вадим, не могли обмундировать как следует.

Они сердито цитировали призыв, тогда звучавший на всех митингах: «Грудью встать на защиту Ленинграда!» Грудью, – выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, танки. Идиотское выражение, но, судя по обмоткам, – прежде всего – грудью!

Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли броню и зачислили в ополчение.

То есть рядовым в пехоту, спросили они, на кой мне ополчение, это же необученная толпа, пушечное мясо. Война – профессиональное дело, доказывал Бен.

Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками Фортуны. В университете на Вадима возлагал большие надежды сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики. Считалось, что Вадим Пушкарев предназначен для великих открытий. А Бен отличался как математик, его опекал Лурье, тоже знаменитость.

Я гордился дружбой с ними, тем, что допущен в их круг, на меня, рядового инженера, никто особых надежд не возлагал, в их компании я всегда выглядел чушкой, они по сравнению со мной аристократы, во мне плебейство неистребимо. Но они меня тоже за что-то любили.

Вадим достал из кармана фляжку, с водкой, отцовскую, пояснил он, времен первой империалистической, мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая «Лейка». Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел, а Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет «фактор внезапности», мы их сокрушим могучим ударом, поскольку:

...от тайги до
британских морей
Красная Армия
всех
сильней!

Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе мы их раздолбаем. Очень скоро нас постигло разочарование, оно перешло в отчаяние, отчаяние – в злобу, и на немцев, и на своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, исступленная.

Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас, для них все уже когда-то было: война, падение империи, чума, разруха.

В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта, он командовал зенитной батареей, только в самых последних

строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима, под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», — закончил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю.

Разведчик

В первую разведку повел нас Володя Бескончин. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли к нам во фланг. Воевать мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали.

Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку.

Пошли ночью. По шоссе двигалась немецкая колонна. Куда они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл к нам заходят. И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. Отчаянный был, подначил, и мы с ними зашагали в хвосте. Бескончин послал двоих предупредить, что так, мол, и так. Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступить. Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. Гранаты швыряем. Вперед, и назад, и в бок. Немцы никак не разберутся. Паника началась. Побросали они свои пулеметы, радию в том числе, и бежать. Мы все – в кучу, подожгли. Вернулись. Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бескончина. Он стал темнить, мол, сообщил комбату, «смотря по обстоятельствам, можешь – поддержи, не можешь – отходи». Чтобы того не расстреляли. К томушло. Кое-как вытащил его, все же они из одного цеха. Ве-

чером пришел Черняков к Бескончину благодарить. Володя говорит: давай выйдем на воздух. Потом Бескончин вернулся. Объясняет – поговорили.

– Устыдил ты его?

– А как же, морду набил, искровянил всего, так, чтобы закаялся.

– Жаль, что мы не видели.

– При вас, – говорит он, – нельзя, все же командир он, не положено.

Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали, не было опыта, шел июль 1941 года, в сентябре бы уже побоялись такие номера выкидывать.

1941 год

В августе 1939 года Молотов говорил на сессии Верховного Совета: «Вчера еще мы были с Германией врагами, сегодня мы перестали быть врагами».

«Если у этих господ, Англии и Франции, опять такое неудержимое желание воевать, пусть воюют сами, без Советского Союза. Мы посмотрим, что это за вояки».

Вот с каким идейным обеспечением мы отправились на войну.

Перед этим с Риббентропом наши правители торжественно подписали договор о ненападении. На фотографии в «Правде» советские хитрецы вместе с ним весело улыбаются. Потом Молотов целовался с Риббентропом.

Молотов вещал, что Германия стремится к миру, а Англия и Франция за войну, это средневековье.

Заблуждался? Кое-как объяснимо. Мог так думать, да еще политика заставляла. Позже историки старались оправдать и его, и других.

Война закончилась. После нее Молотов прожил еще 41 год! Бог ты мой – целую жизнь! Было время объясниться с Историей, поправить себя, оставить какую-то ясность. Нет, не захотел. Все, что делал, правильно, честно, мудро, иначе было нельзя, никаких покаяний, фиг вам!

Немцы все кричали «Ура!» Гитлеру, доносили гестапов-

цам, потом стали доносить штази на тех, кто смотрит западное TV. Теперь они требуют выяснить, кто из новых депутатов был связан с КГБ.

Немец, молодой, веселый, сказал мне: «Какая у вас плохая туалетная бумага, как вы живете, я взял кусок показать у нас в ФРГ, чем вы подтираетесь».

В ГДР было 85 000 штатных сотрудников штази.

Как одинаково распадались режимы в Болгарии, ГДР, Чехословакии, и как глупо вели себя при этом правители.

Карл Т. вступил в компартию, чтобы сделать карьеру, теперь вышел, чтобы опять продвинуться.

Лицо

Лицо – это единственное место у человека, открытое для показа того, что делается там, в душе. У собаки есть еще хвост, что-то она им выражает – приветливость, настороженность, а у человека только лицо. Уши у него не поднимаются, шерсть не встает. Есть шея, плечи, они мало что дают, а вот лицо – это сцена, где свои безмолвные роли играют много актеров. Это театр мимов, где играют чувства, отражаются мысли. Появляются знаки притворства и искренних страстей. Труднее всего приходится глазам, через них можно заглянуть вглубь, им трудно скрыть свой блеск, гнев, еще труднее – горе, когда, хочешь не хочешь, наворачиваются слезы.

Я все это изучал по ее прелестному лицу, безусловно красивому, оно показывало открытость, ни тени притворства, но именно показывало, это была искусная игра, пожалуй, естественная, рожденная женским инстинктом, никто их не обучает этому. Голубые глаза темнели, и тогда проглядывалась мольба, смешанная со злостью, что бурлила там, внутри. Но наверху на лице шла игра обольщения, призыв вспомнить все хорошее, что было: поцелуи, шепот, близость, вскрики страсти.

Я смотрел спектакль; то, что творилось на сцене-лице, не имело ко мне отношения. Губы играли отлично, и морщинки вокруг глаз им помогали. Жаль, что я не видел своего лица,

можно было сравнить, что за ансамбль получался.

Глаза ее загорелись, как будто там повысили напряжение...

* * *

Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Как они согревали всех нас: и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства.

Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все что было? Одно за другим приходят письма: «Я, инвалид I группы Красавина Тамара, наша мама всю жизнь трудилась дворником, вечерами в прачечной стирала людям... Мы считаемся блокадниками, и что? У нас есть бедные и богатые. Бедные живут на 2000 рублей, а богатые едут в Италию и Париж. И им все мало».

Ольга Федоровна верила, что слова ее, высеченные на камне одного из главных памятников Великой Отечественной, не устареют, они были как формула, как закон.

Греческий историк Фукидид писал свой труд о войне между пелопоннесцами и афинянами в «уверенности, что война эта великая и самая достопримечательная из всех, какие

были».

Это было 24 века назад!

Время от времени комбат посылал меня в подвалы Пулковской обсерватории. Там валялись остатки библиотеки. атласы звездного неба, созвездия, таблицы. Комбату же нужно было что-то для чтения. Я откапывал номера старой «Нивы», попадался журнал «Аполлон» (его бумага тоже не шла на самокрутки).

В блокаду мы на фронте стреляли ворон. Охотились за ними больше, чем за немцами. Ездили еще на «пяточок» охотиться, там можно было подхарчиться за счет убитых, которыми питались вороны.

Получил боец посылку, понес, заблудился, попал к немцам, но не растерялся, сказал: «Ведите к офицеру – мой командир посылает вам на Новый год». Отпустили.

Случилось это на Ленинградском фронте. Когда сценаристы использовали для фильма – получилась выдумка.

Как же так случилось, что я стал седым?

А и сам не помню – был ли молодым.

Воевал ли я? Может, то был другой, а может, меня убили, а остался кто-то другой?

9 Мая 1945 года Эренбург ночью написал стихи «Победа». Кончаются они так:

Я ждал ее, как можно ждать любя,
И час настал, закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она,
И мы друг друга не узнали.

В те же дни Абакумов писал Сталину донос на Эренбурга.

То и дело открываются тайны прошлого: обстоятельства убийства Кирова, смерть Сталина, расстрел Берии, сведения про Жукова, про Хрущева... Раскрываются всё новые и новые тайны, публикуются легенды, оглашаются подозрения, слухи о нераскрытых преступлениях, документах...

Блокадная память

Записывая рассказы блокадников, мы с Адамовичем чувствовали, что рассказчики многое не в состоянии воскресить и вспоминают не подлинное прошлое, а то, каким оно стало в настоящем. Это «нынешнее прошлое» состоит из увиденного в кино, ярких кадров кинохроники, книг, телевидения. Личное прошлое бледнеет, с годами идет присвоение «коллективного» – там обязательные покойники на саночках, очередь в булочную, «пошел первый трамвай». Нам с Адамовичем надо было как-то вернуть рассказчика к его собственной истории. Это было сложно, нелегко преодолевать эрозию памяти, тем более что казенная история противостояла индивидуальной памяти. Казенная история говорила о героической эпопее, а личная память о том, что уборная не работала, ходить «по-большому» надо было в передней, или на лестнице, или в кастрюлю, ее потом нечем мыть, воды нет...

Мы расспрашивали об этом, о том, что было с детьми, как раздобыли «буржуйку», сколько дней получали хлеб за умершего.

Мой друг так перефразировал римского сенатора Катона: «Карфаген должен быть разрушен, а Ленинград – восстановлен!»

«Я установил, что я бездарен, поэтому нет смысла оставаться порядочным. Талантливый человек, когда согрешит, его будут осуждать, вздыхать. Порядочность его украшает. Меня ничто не украсит, а расходы на порядочность большие, прославить она не может. Нет уж, тем более что подлости у меня получаются».

Я так и не мог понять, издевался Игорь Федорович над собой или хотел меня вызвать на откровенность. Мы выпили еще, и я стал его утешать, вспомнил, какой замечательный капуста он сочинил. Он прослезился, повеселел, похоже, что это ему и надо было.

В начале мая деревья покрылись зелеными мушками. Не покрылись, а задымились, зеленый прозрачный дымок от первых листочков. Тень появилась светлая, сетчатая, пахучая. Я в нее окунулся. Дул ветерок, но ни березки, ни липы на него не отзывались, нечем им было, они еще бесшумны. Солнце делает новорожденные листки прозрачно зелеными, яркими, от этой детской чистоты природы меня охватывает восторг, на душе весело и молодо, как там, где тоже ликует зелень в солнце, хочется, да нет, ничего не хочется, а просто восторг. Стою и улыбаюсь. Иду и улыбаюсь.

Я хожу в эту рощу часто, знаю каждое дерево, молодняк не различаю, а вот с коренными знаком.

Хорошо здесь к концу сентября, тогда в лесу пылает осеннее пламя. С дороги, там над темными кронами сосен и елей

словно восход поднимается, собственный свет бушует, это листва, к осени насыщенная солнцем, сама излучает, а тут еще рябина добавляет, и, невидная все лето, осенью вдруг царственно заиграла.

Желто-оранжевый цвет себя показал, ничуть он не хуже зеленого с его разнообразием оттенков, этот даже ярче, от коричневого до багряного, от рыжего до карминового, апельсинового.

Никогда не было так, чтобы ничего не было – это про лес. И про дерево, вот существо, почитаемое мною, оно восхищает своей самоотверженной прелестью. После смерти оно продолжает служить избой, мебелью, стропилами, по-новому красиво, надежно, оно всегда теплое.

Машина едет по лесному проселку, и между черными елями желтые облачка берез. День серый, отчего краски разгораются ярче, такой силы этот осенний цвет, что кажется, от него тень может появиться на земле.

Человек приговорен к смерти. За что приговорен – неизвестно. Когда исполнят приговор – неизвестно. Он убежден, что осудили его несправедливо. Кому пожаловаться, кому подать кассацию – неизвестно. Как только он решает наплевать на все это и жить в свое удовольствие, за ним приходят и увозят, куда – неизвестно.

Теперь уже не разобрать, кто воевал в артиллерии, кто

в редакции, кто в банно-прачечном отряде. Все ветераны, все с колодками орденов, все 9 Мая обнимаются и принимают цветы. А есть такие, что выхлопотали себе инвалидные книжки, доказали, что недавно приобретенная подагра или радикулит окопного происхождения.

Барахолка

В июне 1946 года вышло постановление Совета Министров СССР о реставрационных мастерских для пушкинских дворцов. Ленинград еще не оправился от блокады. Стояли разбомбленные дома, не хватало электроэнергии, люди возвращались из эвакуации, а селиться было негде. В нашей коммунальной квартире, когда я вернулся из армии в конце 1944 года, жило двенадцать человек, а в 1946-м – уже восемнадцать. Приезжали и приезжали. Коммуналки были переполнены. Надо было восстанавливать жилье. Прежде всего жилье! А тут реставрация дворцов. Да что же это такое? Но если бы тогда не приступили к этому, если бы помедлили, то растащили бы обломки украшений, карнизов, капители, все, что валялось среди дворцовых развалин. Охраны не было. Копали, копошились и местные, и приезжие. Кто себе в дом, кто для поделок.

Постановление вышло кстати. Не знаю, кто автор, кто его протолкнул, то ли ленинградские власти, то ли Косыгин. Перед нами всегда безымянное «правительство». Среди его пассивного равнодушия действуют какие-то люди, одни – корысти ради, другие, те, кто страдал за пушкинские дворцы и неведомыми нам путями добирался на самый верх, просили, доказывали, убеждали, но про них ничего не известно.

А между тем сколько хитрости им приходилось приме-

нять. Они и унижались, и заискивали. Они-то и творят историю.

Теперь, рассуждая об этом, вспомнилось мне одно предложение на барахолке – головка амура, золоченая, бронзовая, обломанная у шеи, так, что еще часть крыла осталась у плеча. Прелестная головка. Барахолка помещалась на Обводном канале. Она заслуживала бы отдельного рассказа. Нигде ни до, ни после ни на одном базаре не видал я такого выбора: ни на блошином рынке Парижа, ни на знаменитых базарах Востока, ни в послевоенной Германии, где хватало всякой всячины. Всюду все уже знали, что почем, знали цену своему товару. Здесь же, на Обводном, торговали солдаты, вдовы, демобилизованные офицеры, тем, что нахватили в Европе, а хватали что ни попадя. Везли мешками, чемоданами из Венгрии, Чехии, Польши, конечно, из Германии. Везли и машинами, и товарными вагонами. Портьеры и ковры, посуду и мясорубки, картины, выданные из рам, зеркала. Обчищали дома, фермы, учреждения. Тащили пишущие машинки (ходил слух, что дома их легко можно переделать на русский и загнать), письменные приборы, каменные чернильницы, радиоприемники, люстры; комиссионки ломились от шуб, отрезков, обуви, шалей. Барахолка выигрывала тем, что деньги получить можно было сразу. Не надо паспорта, ни процентов продавцам. Тут же выпивали, спрыскивая покупку да и продажу тоже.

Барахолка, было у нее еще название «толкучка», толкотня

была ошутимая. Приволье карманникам.

Бронзовый амур был хорош, но мне нужен был пиджак, что-то штатское, осточертела гимнастерка. А на пиджаки был спрос больше, чем на амуров. Кроме амурса вспоминаю упущенный большой деревянный горельеф, великолепное произведение, как теперь вижу старинную работу XVIII, а то и XVII века. Сцена из Священного Писания с Марией Магдалиной. Тяжелую эту панель подвыпивший мужик в шинели поставил в грязь, на землю и охрипло-безнадежно зазывал покупателей. Увидел мой интерес, вцепился в меня, не отпускал, обещал донести до дому, сбавлял цену. Хороша была вещь, помню ее в подробностях, заостенелую от времен желтизну фигур и темную дубовую раму, так память бережно сохраняет упущенное.

В другой раз я долго топтался, приходил, уходил, возвращался к малахитовому ларцу с шахматами, выточенными из кости. Фигуры ферзя, слонов, ладьи были в виде голов, украшенных коронами, шлемами. Прелесть состояла в своеобразии каждой физиономии, хотя пешки были разные, однако каждое лицо было пешечно-солдатским, туповато-послушным, в каждом был Швейк. А офицерский состав отличался надменностью, живостью... Художнику не все удалось, но ясен был замысел.

Так и не решился купить. Почему, не помню. Может, потому, что слишком шикарны были эти вещи для нашей коммуны в страшной коммуналке, которая все уплотнялась и

уплотнялась.

* * *

Они заночевали в большом дачном доме у друзей под Москвой. Никого в доме не было, она и муж. Он заснул, а она ходила по комнатам и думала, как могла бы сложиться ее жизнь с этим мужем в таком доме, а не в тесной их двухкомнатной квартире. Когда развешивали белье, надо, сгибаясь, пробираться в коридоре. Слышно, как она кряхтит в туалете. Никогда она не может уединиться. Если б у нее была бы своя комната, а у него — своя. Она выходила бы одетой, нарядной. Она физически страдала оттого, что должна при нем переодеваться, он всегда слышит ее разговоры с подругами.

Она мечтала, чтобы они спали в разных комнатах, наутро она бы одевалась одна, не спеша, появлялась бы умытая, пахнущая духами, чтобы что-то прежнее, молодое вернулось к ним. Она поймала себя на том, что раздражается на него, он был ни при чем, наверное, и ему доставалось...

Она ходила по комнатам этого дома, примеривая их к своей жизни, иногда вот так же она заходила в магазин померить модное пальто, повертеться перед зеркалом, увидеть там такую, какой она хотела быть.

Тыл

Директора военного времени были хороши, делали невозможное – Зальцман, Новиков, Завенягин...

В июле 1941-го Сталин собрал совещание по выпуску винтовок. Оказалось, нет винтовок, не с чем воевать мобилизованным.

У Устинова спросили, может ли Ижевский завод увеличить выпуск винтовок с 2000 штук до 5000?

Устинов, как всегда, схитрил, трусливо уклонился – здесь мой зам Новиков, он из Ижевска, он скажет.

«Я встал и говорю: нам на это надо 8 месяцев. Берия – тоже как обычно: нет, 3 месяца! Я говорю – это невозможно. Создали комиссию. Она струхнула, написала: три месяца. Я не подписал. Приносят заключение Берии, он смотрит: “Почему нет подписи Новикова?” Вызвали меня, я говорю, потому что это невозможно, 8 месяцев, и то авантюра. Хорошо, говорит Берия, пусть будет 8 месяцев.

И потом он мне помогал. (2000 довели до 5000, потом до 12000 в сутки!)

Звонил Сталин, передал трубку Берии, тот говорит – я сказал т. Сталину, что если Новиков говорит, что сделает, то сделает. Таким образом он как бы поручился за меня. Я решил это использовать. Звоню из Ижевска – нет угля! Нужны женщины из Тулы для пулеметных лент, а то у нас не полу-

чается. Сразу же помог. Он соображал и действовал оперативно».

Владимир Николаевич Новиков умел «топить» вопросы.

Хрущев потребовал создавать заводы кукурузного масла. Новиков договорился – определяюсь после уборки кукурузы, посмотрим, какой будет урожай, и постепенно указание «замотали».

На войне мы читали стихи Константина Симонова, я ему навсегда благодарен, и Алексею Суркову, и Илье Эренбургу. Не стоит, наверное, стыдиться той ненависти к немцам, какая была в их стихах, очерках, ненависть ко всем немцам без разбора; народ, или солдат, или фашисты – мы ненавидели их всех, которые вторглись в нашу страну. Мы не могли позволить себе разбираться: это просто солдат, а это нацист. Тогда была ненависть не пропагандистская, ненависть своя собственная, за гибнущую Россию. Город за городом они захватывали: взят был Новгород, Кингисепп, Псков – города, в которых проходило мое детство, а между ними были и станции, поселки, куда мы ездили с отцом. Помню, как я вздрогнул, когда услышал по радио «Лычково», и оно тоже... Ничего не оставалось, никакой моей России, только Ленинград, один Ленинград, и еще Москва, где был я несколько раз, но и вокруг Ленинграда не было уже ни Петергофа, ни Гатчины, ни Павловска.

«Поступай всегда так, будто от тебя зависит судьба России», – говорил отец.

Он был мальчиком, когда немцы в местечке собрали всех евреев, выстроили у обрыва и расстреляли. Жителей заставили закопать. Его, мальчика, ему было уже 10 лет, тоже послали закапывать.

«Соседка Люба хорошо знала немецкий. Ее взяли в гестапо машинисткой. Она подкармливала их – мать, бабушку, детей. Однажды она сказала маме: “Я печатала списки на расстрел, там вы с детьми как семья комиссара”. Бабушка запрятала нас троих в ледник. Мы отсиделись там месяц, пока немцы не стали отступать. Пришли наши. Любу сразу схватили, потому что служила в гестапо. Мама хлопотала, и другие тоже, она спасла не только нас. Не помогло. Ее приговорили к 25 годам лагерей, там она вскоре погибла.

Отца моего за то, что в окружении уничтожил штабные документы, отправили в штрафную роту. Я возненавидел и немцев, и наших, одинаково, все они палачи, звери. И до сих пор не вижу разницы».

Война

Отец Олега Басилашвили рассказывал сыну:

– Как шли в атаку? Очень просто, кричали «Мама!», еще было «За Родину! За Сталина!» Но больше было другое: дадут стакан водки на пустой желудок – и вперед. Кричали от страха, от безнадежности, потому что за спиной «ограды», те, в хороших полушубках, в валенках, вот мы и кричали: «Мама!»

– А немцы?

– А немцы навстречу нам, они кричат: «Mutter!» Так вот и сходились.

– А что за трофеи были, что брали себе?

– Часы ручные брали. А один татарин сообразил полный чемодан патефонных иголок. У нас они были в дефиците.

Отец его был начальником полевой почты всю войну. В Будапеште шел он по улице, ударил снаряд, стена дома обвалилась, и открылась внутренность: комнаты, картины, буфет, сервизы. Он забрался внутрь посмотреть. Увидел альбом с марками. Надпись владельца на иврите. Зачеркнуто. Поверх надписи нового владельца – эсэсовца. Взял себе. Зачеркнул немца, надписал себя по-русски.

Почтарь! На немецкие марки ставил самодельную печать. На Гитлера – печать – «9 Мая 1945».

И повсюду страшные, вздутые трупы. Это раненые рас-

ползались во все стороны. Умирали, уткнув лицо в землю, скрюченные последними муками.

Передо мной предстала картина отступления наших. Немцы своих подобрали, похоронили. Наши уходили в небытие неизвестными, неизвестными навсегда.

От сладкой вони гниющей человечины тошнило, находиться далее не было сил. Жирные блестящие мухи гудели над трупами, кружили птицы. Здесь, на перекрестке дорог, немцы на броневиках настигли отступающую нашу часть, судя по всему, наши стояли насмерть. Были израсходованы все гранаты, диски автоматов, ручных пулеметов были пусты, так что и поживиться было нечем.

– Господи, во что мы превратимся... – сказал Меерзон.

Вот что такое отступление.

Я не мог больше там быть, я бежал, зажимая нос, мы все бежали, и думать нельзя было, чтобы их похоронить, хотя бы землей присыпать, хотя бы документы достать, медальон вынуть.

«Медальон», еще он назывался «смертник», это был черной пластмассы патрончик, куда вставлялась бумажка, свернутая трубочкой, с фамилией, именем и отчеством. Несколько сведений, кажется, группа крови. Не помню, был ли домашний адрес. В моем медальоне через год все стерлось, когда мы переплывали Лугу, ползали по болоту. Наверное, сырость проникла. Два раза я менял бумажки. У немцев были металлические жетоны, что-то на них было выбито, цифры,

буквы. С них не сотрется. Патрончики наши в танках сгорали вместе с экипажами, ничего не оставалось. Бывало, успеют выскочить, гимнастерку сбросить, но медальон этот го-венный тю-тю.

* * *

Он умирал в госпитале, умирал на рассвете, не было сил позвать сестру, да и охоты не было, она помешала бы, потому что он ждал, что ему что-то откроется, смысл уходящей от него жизни, то, что было заложено в его душе и ждало этого часа перед тем, как покинуть мир, смысл взрыва, который настиг его, вернее смысл конца, итога, последней черты. Нет, ничего не приходило, болел еще пуще ноготь, вросший в большой палец ноги, так он его и не успел остричь, и эта глупая мелкая боль пробивалась сквозь обмирание слабеющего сердца, как насмешка. Так он и умрет по-глупому Наверное, все так умирают, недоумевая, не поняв, что же это все было.

Он вдруг поднялся, откуда нахлынули силы, и громовым голосом, разбудив всех, заорал:

– Двадцать миллионов угробили! Завалили фрицев мясом, на хер мы старались геройствовать! Матросовы, Покрышкины... Подышаем здесь. Мусор. Остатки. Если Бог есть, достанется вам, не вывернетесь, суки.

И упал. Что-то еще хрипел, но уже не разобрать.

Сашу Ермолаева хоронили на Красненьком кладбище. После похорон я подошел к председателю Кировского райсовета.

– Вы слышали сегодня, как Ермолаев хорошо воевал. Мы с ним вместе в одной части прошли весь 1941-й и зиму 1942-го. По че му его фамилию не занести на доску памяти участников войны?

– Там же занесены только погибшие на фронте.

– Я знаю. Но разве это правильно? Оттого, что Ермолаев уцелел, награжден за свои подвиги кучей орденов, от этого он не может быть увековечен?

– Таков порядок. Ничего не могу поделать.

Он сочувственно развел руками, он был защищен законом, ему ничего не надо было предпринимать.

– В сущности, он умер от старой раны. Война догнала его. Выжил благодаря своему богатырскому здоровью.

– Я согласен с вами... Хотя, – он нахмурился. – Если заносить всех, кто выжил, никаких досок не хватит. Извините, вы ведь тоже воевали.

– От нашей дивизии осталось сто человек, – сказал я.

– Вот видите, – сказал он. – Впрочем, это не нам с вами решать.

– В том-то и дело, что решают те, кто не воевал.

Дома я достал фотографию Саши Ермолаева с женой Любовью, на обороте была дата «1949 год». Он был уже в штатском. Мы тогда не думали ни о каких мраморных досках, на-

градой было то, что мы уцелели. А вот теперь стало обидно, что нигде – ни на заводе, ни в районе – ничего не останется о нем. Я вспомнил, как он тащил всю дорогу противотанковое ружье, больше пуда, длинную железную однозарядную дуру...

Взгляд

Она смотрела на отца с горечью. Он застал ее взгляд врасплох. О чем-то они говорили, о чем-то печальном, жаловался он, что ли, неважно, сам разговор выскочил из памяти, остался этот взгляд, горечь которого удивила. Черные глаза ее, известные ему каждой ресничкой, каждым выражением, которое делает кожа вокруг глаз, они вдруг заблестели, как в детстве, когда она собиралась плакать, губы стали быстро опухать. Он ничего не спросил, чтобы она не расплакалась. Он продолжал разговор, но взгляд этот не выходил у него из головы. Горечь ее взгляда никак не вязалась с разговором, горечь была о чем-то другом.

Поздно вечером он сидел у себя один, уже все спали, отложил книгу и набрался сил раздеться и лечь. Это с детства – неохота расставаться с прошедшим днем, бессмысленное желание продлить его, задержать хоть на несколько минут. Вот тут почему-то вспомнил своего отца, все соединилось, и он понял ее взгляд. Точно так же однажды в бане он увидел сухие ногти его на ногах, обвислые мышцы, шею в морщинах, коричневые пятна на руках и вдруг понял, как постарело отцовское тело, еще недавно отец без устали плавал в озере, из бани прыгал в снежный сугроб, ходил на лыжах. От этого разрушения стало горько, даже страшно. То же самое было сейчас во взгляде дочери – страх, горечь, жа-

лость.

Она увидела. Сам он не хотел замечать, а вот сейчас через ее взгляд увидел. Что ж тут делать, ничего не сделаешь. Может, и отец заметил тот его взгляд, тоже все понял, только виду не подал, как нынче и он.

Так, может, будет и с дочерью когда-нибудь, это уже за горизонтом его жизни.

Она ничего не сказала, и он подумал, сколько в этом мужества, сколько такого мужества проявляют тысячи людей (и отцы, и дети), всегда это было и будет. Уход печален не потому, что мы расстаемся с этим миром – им невозможно налюбоваться, и не потому, что мы чего-то не завершили, сколько бы мы ни жили, всегда приходится уходить посреди работы.

Он вспомнил, как отец уже стариком все работал, работал, не давая себе поблажек, как росла его доброта, не от бессилия, а от любви к этому миру, который он покидал, и торопился оставить ему больше хорошего.

* * *

Всю жизнь мой отец пил чай вприкуску. На сладкий чай – не хватало, а под конец уже по привычке.

Рецепты Лихачева

Дмитрий Сергеевич Лихачев жил, работал в полную силу, ежедневно, много, несмотря на плохое здоровье. От Соловков он получил язву желудка, кровотечения.

Почему он сохранил себя полноценным до 90 лет? Сам он объяснял свою физическую стойкость – «резистентностью». Из его школьных друзей никто не сохранился. «Подавленность – этого состояния у меня не было. В нашей школе были революционные традиции, поощрялось составлять собственное мировоззрение. Перечить существующим теориям. Например, я сделал доклад против дарвинизма. Учителю понравилось, хотя он не был со мною согласен».

«Я был карикатурист, рисовал на школьных учителей. Они смеялись вместе со всеми».

«Они поощряли смелость мысли, воспитывали духовную непослушность. Это все помогло мне противостоять дурным влияниям в лагере. Когда меня проваливали в Академию наук, я не придавал этому значения, не обижался и духом не падал. Три раза проваливали!»

Он рассказывал мне:

«В 1937 году меня уволили из издательства с должности корректора. Всякое несчастье шло мне на пользу. Годы корректорской работы были хороши, приходилось много читать.

В войну не взяли, имел белый билет из-за язвы желудка.

Гонения персональные начались в 1972 году, когда я выступил в защиту Екатерининского парка в Пушкине. И до этого дня злились, что я был против порубок в Петергофе, строительства там. Это 1965 год. А тут, в 1972 году, остервенели. Запретили упоминать меня в печати и на телевидении».

Скандал разразился, когда он выступил на телевидении против переименования Петергофа, Твери в Калинин. Тверь сыграла колоссальную роль в русской истории, как же можно отказываться. Сказал, что скандинавы, греки, французы, татары, евреи много значили для России.

В 1977 году его не пустили на съезд славистов.

Членкора дали в 1953-м, в 1958-м провалили в Академии, в 1969-м отклонили.

Ему удалось спасти в Новгороде застройку Кремля от высотных зданий, спас земляной вал, затем Невский проспект, портик Руска.

«Разрушение памятников всегда начинается с произвола, которому не нужна гласность».

Он извлек древнерусскую литературу из изоляции, включив ее в структуру европейской культуры.

У него ко всему был свой подход: ученые-естественники критикуют астрологические предсказания за антинаучность. Лихачев – за то, что они лишают человека свободы воли.

Он не создал учения, теории, но он создал образ защитника культуры.

Из суждений Д. С. Лихачева

«Русская православная церковь не покаялась за то, что сотрудничала с советской властью, нарушала тайну исповеди, имела священников – членов партии».

«Даже в случаях тупиковых, когда все глухо, когда вас не слышат, будьте добры высказывать свое мнение. Не отмалчивайтесь, выступайте. Я заставляю себя выступать, чтобы прозвучал хоть один голос».

«Проблема личности и власти – это проблема не только интеллигенции. Это проблема всех порядочных людей, из каких слоев общества они бы ни происходили. Порядочные люди нетерпимы не к власти как таковой, а к несправедливости, исходящей от власти».

Дмитрий Сергеевич вел себя тихо, пока его мнение не имело для общества и для власти особого значения. Он работал, старался быть незаметным и беспокоился о собственной совести, о душе, желая максимально уклониться от любого, даже малейшего, участия в контактах с властью, тем более – от участия в ее неблагоприятных делах. Спорить с властью, действовать публично на пользу общества Лихачев начал, когда получил достаточный общественный статус, как только по-

чувствовал силу, понял, что с ним стали считаться.

Первыми замеченными в обществе его поступками стали его выступления о переименовании улиц и городов, в частности выступление на Ленинградском телевидении. Телевидением у нас тогда руководил Борис Максимович Фирсов, весьма умный и порядочный человек. Выступление Дмитрия Сергеевича было вполне корректным по форме, но по сути – дерзким вызовом власти. Оказалось, что Лихачева за него наказать было трудно, либо – неудобно. Кара постигла Фирсова. Его уволили, и это стало большой потерей для города. Таким образом проблема «выступать – не выступать» против власти совершенно неожиданно приняла для Дмитрия Сергеевича другое измерение. Выступая в газете или на телевидении, он подвергал риску не только себя, но и тех людей, кто предоставлял ему возможность выражать свои взгляды, обращаясь к обществу, к массовой аудитории.

Второй жертвой власти в связи с лихачевскими выступлениями стал главный редактор «Ленинградской правды» Михаил Степанович Куртынин. Его уволили после статьи Лихачева в защиту парков. Куртынин, так же как и Фирсов, был хорошим редактором, и это событие также стало потерей для города. Понимал ли Лихачев, что в результате его выступлений могут пострадать другие люди? Может быть, и понимал, скорее всего, не мог не понимать. Но не мог промолчать. Разумеется, в обоих случаях и Фирсов, и Куртынин хо-

рошо осознавали, что идут на риск, но, видимо, ими двигало то же, что и Дмитрием Сергеевичем: совесть, порядочность, любовь к родному городу, гражданское чувство.

Отмалчиваться или выступать, не считаясь с опасными последствиями, — это вопрос непростой не только для Лихачева, это и для меня непростой вопрос. Такой выбор рано или поздно встает перед каждым из нас, и здесь каждый должен принимать свое личное решение.

Как бы то ни было, но Лихачев начал выступать. Что, собственно, произошло для него в результате? Он вышел из убежища. К примеру, проблема Царскосельского парка формально не являлась проблемой Лихачева как специалиста. Он вступал в конфликт с властью не как профессионал, специалист в своей конкретной области науки, а как деятель культуры, общественный деятель — во имя гражданских убеждений. Существенно, что на этом пути у него могли возникнуть не только неприятности личного свойства, но и помехи для научной деятельности. Так и случилось: он стал невыездным. Не выходил бы за рамки литературоведения — ездил бы за рубеж по различным конгрессам и так далее. Его деятельность — редкий пример в академической жизни. Чаще люди выбирают молчание в обмен на расширение профессиональных возможностей. Но если считаться с такими вещами, то нужно закрывать всякую возможность выражения своих гражданских чувств и строить отношения с властью по принципу «Чего изволите?». Это — вторая проблема,

с которой пришлось столкнуться Дмитрию Сергеевичу, и он также решил ее в пользу исполнения своего общественного долга.

Не могу не вспомнить один весьма удивительный пример лихачевской отваги: его выступление вместе с Собчаком на площади у Мариинского дворца против введения чрезвычайного положения и ГКЧП. Тогда Дмитрий Сергеевич проявил настоящее бесстрашие. Выступление Собчака было по-настоящему красивым поступком. Но Анатолий Александрович был политиком. И часть профессии политика – рисковать. Для Дмитрия Сергеевича это не было профессией, но он принял одинаковую с Собчаком долю риска. Между прочим, исход политической схватки между демократией и прежним режимом был тогда совершенно неизвестен. Многие функционеры слали в Москву телеграммы с выражениями верноподданничества. А Лихачев выступил, причем – безоглядно.

Наверное, в разные эпохи, в разные исторические моменты страна получает разную власть. Когда-то власть более справедлива, когда-то – менее. Когда-то она совершает больше ошибок, когда-то – меньше. Но «эра милосердия» пока остается лишь утопией. А это означает, что перед каждым новым поколением порядочных людей и перед каждым порядочным человеком в отдельности снова и снова будут вставать те же вопросы, примеры решения которых нам дал своей жизнью Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Лихачев рассказывал:

«Академику Марру выделили кабинет площадью не меньше 2000 м². Там автомобиль мог ходить. Стол письменный поставили на возвышении. Настоящий тронный зал. Пришел к нему однажды Б. маленького роста, стоит как перед престолом. Марр растрогался, пошел провожать его, в проеме между двумя дверьми – вторую начальство поставило, чтобы не подслушивали, – Марр остановил Б. и сказал тихо: „Меня считают марксистом, а я ничего Маркса не читал, – он засмеялся, – и не собираюсь“».

Генетики

В годы работы над «Зубром» автор погрузился в сообщество биологов, своеобразное, не похожее на сообщества физиков, химиков, историков и прочих научных корпораций. Там существуют свои порядки, все так или иначе знакомы, одни лично, другие по работам, конгрессам, симпозиумам, да мало ли. Сообщество биологов же в 60-е – 70-е годы было расколото на два лагеря: лысенковцы и антилысенковцы, те, кто преуспели в годы лысенковщины и кто пострадал и был изгнан, смещен, выслан, арестован, а то и погиб. Были и нейтралы, которые как-то сумели укрыться. Большую же часть биологов трагедия лысенковщины резко размежевала. Генетики, ботаники, зоологи, академики, профессора, агрономы, специалисты по сурепице, картофелю, червякам... Коля Воронцов, эволюционист, который питал тайную страсть к летучим мышам, все эти специалисты по разным земным козявкам и мастодонтам, они-то и восхищали меня своей образованностью, своей начитанностью, а главное, общением с живой природой. Это не то что физики, жившие в непредставимом мире. А биологи, генетики, эти люди, общались с существами, не менее интересными, чем они сами. Среди биологов было несколько героев недавних битв с Лысенко, были фронтовики, особенно смелые авторы, а среди них, фронтовиков, уж совсем легендарная личность – Иосиф Аб-

рамович Рапопорт. Он — дважды герой, сперва на фронте, а потом после войны в сражениях с Лысенко. При этом он еще отличался как генетик, сделал классические работы по мутагенезу и прочим вещам, в которых я, честно говоря, не разбирался.

На фронте Рапопорт был ранен в голову и потерял левый глаз, лицо его пересекала повязка, закрывая рану. Повязка придавала ему боевой вид, напоминая Нельсона, Моше Даяна или пиратов из книг Стивенсона. При знакомстве он немедленно начал расспрашивать автора о знаменитой тогда встрече писателей с Хрущевым, о разговоре автора с Молотовым, но автор перебил его, потому что о Рапопорте и Молотове ходила куда более значительная легенда.

Еще во времена Сталина, после выступления Рапопорта на сессии ВАСХНИЛ, его исключили из партии. В райкоме его уговаривали отречься от генетики, сослались на то, что сам Молотов поддерживает новую биологию Лысенко. Рапопорт тогда сказал: «Почему вы думаете, что Молотов знает генетику лучше, чем я?» Фраза эта, простейшая для специалиста в масштабах Рапопорта, как оказалось потом, передавалась из уст в уста восторженно, как вызов всем вождям и начальникам. Шел 1948 год. Был убит артист Михоэлс, началась кампания антисемитизма, разоблачали безродных космополитов, прорабатывали Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна. Идеологический зажим происходил повсюду. И эта невинная реплика Рапопорта прозвучала в то

время чуть ли не как акт сопротивления всему партийному стилю руководства. Вожди уверенно указывали музыкантам, композиторам, музыкальным гениям России, какая музыка нужна, какая хороша, они поправляли Эйзенштейна, Козинцева, Шостаковича, бесцеремонно наставляли ученых-генетиков и наказывали несогласных. Сталин уверенно высказывался в самых разных областях науки, будь то история России, языкознание, экономика, не только устно, писал статьи. И его сподвижники не стеснялись, и соответственно вели себя и секретари обкомов, они тоже считали себя специалистами по всем вопросам. Практически их самоуверенность выглядела так: раз я всем и всеми руковожу, значит, я обо всем могу, нет, не могу, а должен, нет, не должен, а обязан иметь суждение. Уверенность переходила в то, что «значит, я способен».

Подобного не позволяли себе даже царствующие особы России. Среди изречений Екатерины Великой были два, которыми она часто пользовалась. Первое: «В обществе всегда находится человек, который умнее меня». Второе: «Меньшинство, обычно, более право, чем большинство». Ни то, ни другое коммунистическим вождям не было свойственно, ни один из них не обладал чувством самоиронии. Реплика Рапопорта тем более нравилась автору, что и на фронте этот человек вел себя так же безоглядно.

Двадцать седьмого июня 1941 года Рапопорт, как и автор, ушел добровольцем в армию, но если автор оставался рядо-

вым, то Рапопорт вскоре стал командиром стрелкового батальона. Пулевое ранение в ноябре 1941-го привело к поражению руки. После госпиталя он вернулся в строй, опять – батальон, затем – начальник штаба полка. И так сражение за сражением его путь лежал через Украину, Молдавию, Венгрию, Дунай, Будапешт, бои за Вену, он уже майор, он начальник оперативного отдела штаба дивизии. В декабре 1944 года, получив тяжелое ранение, он отказался уйти с поля боя. Два ордена Красного Знамени, орден Суворова, Отечественной войны. Он был представлен в конце войны к званию Героя Советского Союза. Не дали. При его еврейском происхождении и при такой очевидной фамилии его награды выглядят тем более значимыми. Можно к перечню наград добавить американский орден и венгерский орден Красной Звезды.

Такая военная биография редкость. Столько в ней удач, великолепных операций, отчаянной отваги. Еще большая редкость, что, придя с войны, с тем же мужеством он продолжал сражаться, когда начался разгром генетики.

После демобилизации у фронтовиков разительно менялось поведение. На гражданке пропадала солдатская уверенность, недавние храбрецы терялись, автор замечал это и на однополчанах, и на самом себе. Подняться на трибуну, поспорить с начальством, отстоять товарища, выложить то, что думаешь, было труднее, чем подняться в атаку. Хотя не свистели пули, хотя никто не обстреливал трибуну, а вот поди ж

ты... Громили фрицев, «тигров» не боялись, казалось, отныне победителей ничто не остановит, тем более явная несправедливость.

На сессии ВАСХНИЛ 1948 года в абсолютно мракобесной обстановке Рапопорт выступил со страстной защитой генетики.

Когда было объявлено, что доклад Лысенко одобрен Центральным Комитетом партии, следовательно, и самим Сталиным, многие выступили с покаянными речами. Когда Рапопорт попросил слово, подумали, что он тоже хочет показаться. Он поднялся на трибуну и стал разоблачать сторонников Лысенко с их фальсифицированными данными. Из зала кто-то из угодников закричал: «Откуда этот хулиган Рапопорт?» Рапопорт ответил: «Из седьмой воздушно-десантной дивизии». И фронт, и передний край не покидали его, вернее, он не покидал их. Иосиф Рапопорт долгое время служил для автора примером особого мужества, когда человек ведет себя одинаково что на фронте, что после войны. Его нравственная устойчивость по отношению к злу (это выражение его жены) поддерживала тех, кто противостоял лысенковщине. Такие были. Некоторые из них (Кирпичников, Полянский, Тахтаджан, Гершензон, да и сам Рапопорт) спустя сорок лет, в 1990 году, получили звание Героя Социалистического Труда. Для автора Рапопорт стал дважды героем – и военным, и научным. На самом деле их было больше, многих позже автор узнал лично, это Малиновский, Волькенштейн,

Александров, Воронцов, Блюденфельд.

Рапопорт сообщил автору одну интересную деталь: в 1929 году в Ленинграде состоялся Первый Всесоюзный съезд по генетике и селекции. Приехало много иностранцев. Возглавлял съезд Николай Иванович Вавилов. Перед открытием к нему явился представитель от Сталина и сказал, что Сталин просил, чтобы съезд направил ему приветствие. Вавилов отказался, дело в том, что на съезде присутствовало много иностранцев, для которых приветствие генетиков главе государства выглядело глупостью. Сталин, как известно, отличался злопамятностью. Возможно, он припомнил Вавилову его отказ, решая его участь.

Интеллигенция издавна мечтала «истину царям с улыбкой говорить», то есть вполне мирно, корректно, в расчете на ответную признательность, на то, что истина подействует, и уж никак не имея в виду, что за это будут ссылать или усекать голову. Державин, например, в результате своих административных стараний получил от Екатерины Великой должность кабинет-секретаря и со всем пылом принялся преподносить царице свои соображения о том, что есть правда и справедливость. Очень скоро Екатерина II постаралась избавиться от своего советчика, удалив его в Сенат. Радищева тоже удалила с его откровениями, но подальше. Попытки не прекращались, никак не удавалось внушить этим господам, что правители лучше них знают, в чем состоит правда и справедливость.

Великому наставнику всех советских народов понадобилось истребить несколько миллионов умников, чтобы вывести у остальных эту дурную привычку. Ни говорить, ни писать больше не осмеливались, перешли на шепот, пока совсем не замолчали, только аплодировали все громче, кричали «ура», если что и произносили, то скорее в лагерях, чем на воле. О том, чтобы самому товарищу Сталину высказать что-либо поперек, хотя бы наискосок, лишь в страшном сне могло присниться. Так товарищ Сталин остался без истины и должен был сам ее добывать. От Дмитрия Дмитриевича Шостаковича автор как-то узнал другое, рассказ об удивительном поступке замечательной пианистки Марии Юдиной. Однажды Сталин слушал по радио концерт Моцарта № 23 в исполнении пианистки Юдиной. Концерт и исполнение понравились. Радиокomitee немедленно изготовил для него звукозапись. Получив ее, Сталин приказал послать Юдиной 20 тысяч рублей. Через несколько дней он получил от нее ответ: «Благодарю Вас за помощь. Я буду день и ночь молиться за Вас и просить Бога, чтобы он простил Вам Ваши тяжкие грехи пред народом и страной. Бог милостив, он простит. Деньги я пожертвую на ремонт церкви, в которую я хожу». Шостакович назвал это письмо самоубийственным. И в самом деле, был немедленно подготовлен приказ об аресте Юдиной, но что-то удержало Сталина подписать его.

В другой раз автору поведали не менее удивительную историю, связанную с академиком Леоном Абгаровичем Ор-

бели, известным физиологом. Произошло это примерно тоже в 1948 году, во время сессии ВАСХНИЛ. Кроме Рапопорта там еще выступил профессор Немчинов, не соглашаясь с идеями Лысенко. Все же ощущалось сопротивление. По-видимому, тогда Сталин позвонил Орбели, просил его поддержать Лысенко и стал рассказывать о значении его работ. Орбели слушал-слушал, потом с кавказской прямоотой сказал: «Дорогой мой, поздно учить меня». После этого Орбели был снят с должно сти начальника Военной медицинской академии. В 1950 году по прямому указанию Сталина была проведена Сессия Академии наук, направленная на защиту павловского учения, прежде всего, от «монопольного положения академика Орбели в деле руководства физиологическими учреждениями». Осуждали Орбели (любимого ученика Павлова) за извращение павловского наследства, делалось все сноровисто, по образцу лысенковской кампании, над академиками Орбели и Бараташвили вволю поглумились.

Сам Иван Петрович Павлов писал правительству в 1934 году после убийства Кирова, когда начались репрессии: «Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовольствием приводят это в исполнение, как и тем, насильно приучаемым участвовать в этом, едва ли можно остаться существами чувствующими и думающими человечно».

Диагноз великого физиолога подтвердила жизнь ближай-

ших сподвижников Сталина: они все теряли человеческое.

Павлов был убежден, что социальный опыт в России обречен на непременную неудачу, и ничего в результате «кроме политической и культурной гибели моей родины не даст». Все это он писал открыто Молотову и другим. «Аресты беспрерывные и бессмысленные без всякого основания порождают упадок энергии и интереса к жизни» – это он писал в связи с арестом академиков Прянишникова и Владимирова.

Незадолго до смерти Павлов писал Петру Капице, которому не разрешили вернуться в Англию, насильно оставили в России: «Знаете, Петр Леонидович, ведь я только один здесь говорю что думаю, а вот я умру, Вы должны это делать, ведь это так нужно для нашей родины».

Капица его завещание добросовестно выполнял, писал и писал Сталину.

Ученые «дерзили» не просто личностям, они позволяли себе не принимать основы, идеологию, саму философию марксизма-ленинизма, даже материализм. Не потому что они были такими отчаянными храбрецами, а потому, что они были служителями истины, были рыцарями правды, которой не могли, просто физически не могли не служить.

Марксизм утверждал, что перед беспредельной мощью человеческого разума нет непознаваемого, а тот же Рапопорт показывал, что факты опровергают это: «Мы никогда не получим информацию о галактиках, удаляющихся от нас со скоростью света, мы не можем посягнуть на собственное са-

мосознание, на его природу». То же самое автор слышал от биофизика Блюменфельда, от Тимофеева-Ресовского. Так же спокойно Рапопорт отвергал определение материи, которое дал Ленин и которое в институте мы заучивали наизусть.

Он подмигивал своим единственным глазом: напрасно марксисты так уверены, что только практика подтверждает истинные знания, а как же взаимоотношения пространства и времени по теории относительности, и еще всякие теории насчет темной материи. Ему нравилось выступать еретиком, за это уже не сжигали, не поджаривали. Александр Александрович Любищев, знаменитый биолог, открыто проповедовал идеализм, Тимофеев-Ресовский считал Лысенко фальсификатором. Таких было немного, но они были.

Памятник Михаила Аникушина

При въезде в город на Средней Рогатке, или в устье Московского проспекта, стоит известная композиция памяти ленинградской блокады. Ее автор Михаил Константинович Аникушин, Миша Аникушин, великолепный скульптор, автор двух памятников; для меня – лучших памятников советской эпохи: памятника Пушкину на площади Искусств и памятника Чехову, в Москве у МХАТа.

Он не то чтобы любил, он обожал этих писателей, над обоими фигурами работал годами, мастерская его была переполнена вариантами, Чехов в такой позе, в другой. Питерский памятник Пушкину мне представляется наиболее совершенным из всех памятников, установленных Пушкину в России. Я присутствовал при его открытии, Миша попросил меня выступить. Я поднялся на дощатую трибуну, произнес что-то, о Пушкине каждому россиянину есть что сказать. Сдернули покрывало, и то, что я увидел, было так хорошо, что я застыл, меня поразила свобода, вдохновенная свобода, это было воплощение свободы, невозможной в нашей стране. Сейчас, наверное, это уже так не воспринимается, но тогда...

Проект монумента Блокаде был тоже хорош. Даже в том эскизе, который мне показал Михаил Константинович. На нем фигуры дистрофиков, измученных голодом, лишениями

горожан, бомбежками, обстрелами, все беды войны обрушились на них. За 900 дней они превратились в тени, прозрачные, невесомые. Чем они еще живы?

Куда они идут? Они идут к мальчику, золотой мальчик, воплощение Победы, светит им впереди. Это их вера.

Автор нашел прекрасную метафору, символ блокадной эпопеи, несмотря ни на что, мы верили в Победу.

Дальнейшую историю я знаю со слов Аникушина и архитектора памятника Сергея Сперанского. Начальство в лице секретарей обкома (а как же, они – главные, во всем руководящая роль партии) стало знакомиться с проектом. Горожане есть, а где же бойцы Ленинградского фронта, как же без них, они должны быть, но если солдаты, тогда и матросы Балтийского флота. Если они, то и партизан, хотя бы одного. А летчики? Обязательные фигуры всякий раз добавляются, набралась уже толпа, делегация. Представители всех слоев населения, всех видов оружия. Обязательно, это же не просто блокадники, это монумент всем защитникам Ленинграда.

Протесты авторов ни к чему не приводили, им приводили в пример монумент Сталинграда, где Вучетич создал многофигурную композицию. Чем мы хуже? Сооружение Вучетича одобрено руководством страны. Это что-то означает.

А мальчик, его как понимать? Нашим ориентиром была партия, она вела нас к победе. У нас есть символ на Пискаревском кладбище – мать Родина, при чем тут мальчик.

И пошло-поехало. Мальчика категорически изъяли.

Осталась сборная делегация защитников города, среди них голодные и нормальные, всякие, все же с печатью блокадной жизни, они идут из города навстречу приезжим. Что это должно значить, стало совершенно непонятно.

Душу из памятника вынули. Чего хотят эти люди? Стоит только взглядеться, и памятник вызывает недоумение.

Губительно вмешательство партийных невежд в искусство. За все время советской жизни они никогда ничего не улучшили, только портили, уродовали замыслы художников, режиссеров, писателей.

Вот и этот монумент искалечили. Мой французский гость, художник, не зная предыстории памятника, удивлялся этой толпе истощенных людей, словно уходящих из города – первое, что встречают приезжие в Санкт-Петербург. «Пугающая встреча», – сказал он.

Михаил Аникушин был великим скульптором, Слава Бухаев, талантливый питерский архитектор, рассказывая печальную историю памятника защитникам города, вдруг вспомнил, как Романов, заметив Аникушина на каком-то сборище, сказал: «И ты, лысый, здесь». И как Миша смутился и позже сказал Бухаеву: «Мне бы надо ему ответить: „Я все же старше вас, товарищ Романов“». Не нашелся.

Папы римские, и те куда почтительней обращались со своими художниками, понимали, что есть они и что есть божий дар.

Мастерская Аникушина была заставлена фигурками Чехова, он сделал чуть ли не две сотни вариантов и все не мог остановиться. Это была требовательность к себе большого мастера. Среди вариантов, на мой непросвещенный взгляд, были шедевры, а Миша все искал и искал нечто соразмерное его любви к Чехову.

Совесть

В советские времена низкий нравственный уровень можно было оправдывать страхами, идеологией, репрессиями. В нынешнем человеке мы, очевидно, имеем дело с принципиально другим отношением к стыду и совести. Появились новые требования к ним, новые, куда более заниженные уровни стыда и совести, и они считаются нормальными.

Вот поголовное бесстыдство чиновников, для которых любые законы определяются степенью взяточности.

Вот олигархи, которые захватили народные достояния лесов, недр, земель, жилья и получили миллиарды – за что? Они ничего не изобрели, не открыли ни в науке, ни в экономике, ни в производстве, ничего не дали обществу, тем не менее стали владельцами огромных состояний, в основном по праву захватчиков, «оккупантов».

Вот депутаты всех уровней добиваются своих мандатов с помощью пустых обещаний, лжи и обмана.

В стране повсеместно воцарились культ денег и воровство.

Телевидение на всех каналах заботится не столько о просвещении, не о воспитании, сколько о рекламе, рейтингах ради своих доходов.

В последние годы своей жизни Дмитрий Сергеевич Лихачев упорно возвращался к проблеме совести. Он с печалью

видел, как она перестает быть мерилom нравственности, как Россия становится страной без стыда и совести.

После замечательного русского философа Владимира Соловьева Лихачев, пожалуй, единственный, кто так настойчиво занимался категорией совести.

Соловьев считал, что совесть есть развитие стыда. Должен быть стыд, нет стыда – тогда совесть молчит.

Стыд был первым человеческим чувством, которое отличило человека от животных. Можно считать, что человек – животное «стыдящееся». Господь обнаружил первородный грех Адама и Евы по тому, как они устыдились своей наготы. И изгнал их из рая.

Человек постепенно начинал понимать, что «должно по отношению к людям и к богам», и тогда инстинкт стыда стал превращаться в голос совести, то есть Адам и Ева устыдились совершенного ими, и этот стыд, который заставил их прикрыть себя фиговыми листьями, и был первым голосом совести.

Лихачев сумел развить это положение, дополняя его ролью памяти. Он показывал, как память формирует совесть. Без памяти нет совести, память сохраняет наши грехи, память семейная, культурная, народная питает совесть, требует от нее. Она побуждает совестливость отношения к старшим, к друзьям, родным. Вспоминает, правильно ли мы жили, хорошо ли обращались со своими родными. Позднее наше раскаяние – это работа памяти, которая тревожит со-

весть. Память, как историческая категория, – когда, побывав в Гамбурге на кладбище русских солдат, жертв Первой мировой войны, я вдруг сообразил, что у нас в России не видел и не знаю ни одного кладбища, где сохранялся бы прах русских солдат, погибших в ту Первую мировую войну.

А что такое действия вандалов на наших кладбищах, или то, что они творят в Летнем саду. Это что? Это свидетельства жизни без памяти.

Лихачев обращал наше внимание на некоторые особенности совести.

«Совесть противостоит давлению извне, она защищает человека от внешних воздействий!» И в самом деле, к человеку порой может достучаться только совесть, внутренний его голос, он куда действенней, чем бесконечные призывы, пропаганды учителей, воспитателей, даже родителей.

«Поступок, совершенный целиком по совести, – это свободный поступок».

Я спрашиваю себя: а зачем человеку придали (навязали) эту самую совесть, ведь никто не мешает отмахнуться от нее, какой от нее прок, если она не приносит никаких выгод, если не дает человеку преимуществ ни для карьеры, ни материальных? Благодаря чему она существует, совесть, которая грызет и мучает, от которой порой не отвяжешься, не отступишься. Откуда она взялась? На самом деле в течение жизни мы убеждаемся, что она исходит из глубины души и не

бывает ложной. Она не ошибается. Поступок по совести не обесценивается, не приводит к разочарованию.

Когда я говорю *поступок по совести*, мне приходят на память некоторые удивительные примеры, впечатлившие меня надолго.

28 июля 1958 года умер Михаил Михайлович Зощенко. На «Литераторских мостках» партийное начальство хоронить его не разрешило, видимо, посчитали, что недостойн. Им всегда виднее. И рядом не разрешили. Наконец указали (!) похоронить его в Сестрорецке, где он жил на даче.

Гражданскую панихиду проводили в Доме писателя. Поручили вести ее Александру Прокофьеву, первому секретарю Союза писателей. Обязали вести кратко, не допуская никакой политики, строго придерживаясь регламента, не позволять никаких выпадов, нагнали много милиции и работников Большого дома. Все желающие в Дом попасть не могли, люди заполнили лестницу, ведущую к залу, где стоял гроб, большая толпа осталась на улице. Гроб поставили в одной из гостиных. Радиофицировать не разрешили. Слово дали Виссариону Саянову, Михаилу Слонимскому, его другу времен «Серапионовых братьев».

Церемония заканчивалась, когда вдруг, растолкав всех, прорвался к гробу Леонид Борисов. Это был уже пожилой писатель, автор известной книги об Александре Грине «Вол-

шебник из Гель-Гью», человек, который никогда не выступал ни на каких собраниях, можно считать, вполне благонамеренный. Наверное, поэтому Александр Прокофьев не стал останавливать его, тем более что панихида проходила благополучно, никто ни слова не говорил о травле Зоценко, о постановлении ЦК, словно никакой трагедии не было в его жизни, была благополучная жизнь автора популярных рассказов.

«Миша, дорогой, – закричал Борисов, – прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам, виноваты мы, виноваты!»

Надрывный тонкий голос его поднялся, пронзил всех, покатился вниз, люди передавали друг другу его слова, на улице толпа всколыхнулась.

Александр Прокофьев не посмел нарушить похоронный ритуал перед лежащим покойником. Рыдая, Леонид Борисов отошел.

Я возвращался домой с Алексеем Ивановичем Пантелеевым, он говорил: «Слава Богу, хоть кого-то допекло, нашелся человек, спас нашу честь, а мы-то, мы-то...»

Что это было? Борисов не собирался выступать, но что-то прорвалось, и он уже не мог справиться с собой, это было чувство, не рассуждающее, подсознательное, неспособное выбирать. Это была совесть, совесть взбунтовалась!

Быть бессовестным сегодня для многих: «быть как все», «иначе не прожить», «ничего не поделаешь, таково наше об-

щество».

Можно, конечно, считать, что наше общество унаследовало советскую мораль, когда никто не каялся, участвуя в репрессиях, когда поощряли доносчиков, стукачей.

Но при чем тут совесть? Она относится к личности, она принадлежит душе, единственной, неповторимой, той, что нас судит.

У Чехова есть рассказ «Студент». Маленький, на три странички. Сам Чехов считал его лучшим из всего написанного.

В страстную пятницу студент Духовной академии, голодный, озябший, идет домой, размышляя о том, что кругом всегда была такая же бедность, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. У костра на огороде сидят две бабы. Студент садится к ним отогреться и рассказывает им историю того, как трижды апостол Петр отрекся от Христа, не устоял, и заплакал. Слушая студента, растроганные бабы тоже заплакали. То, что происходило в душе Петра, их тронуло, вдруг оказался близок тот стыд, те муки совести, какие испытывал апостол. Студент пошел дальше, и вдруг радость затрепетала в его душе. Он думал о том, как прошлое «связано с настоящим непрерывною цепью событий: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Совесть – одно из самых таинственных человеческих чувств.

Казалось бы, совесть в своих требованиях угрожает своему хозяину. Недаром в Грузии говорят: «Мой враг – моя совесть». Это чувство, у которого нет выбора, оно не бывает ни умным, ни глупым, эти категории не для него. Зачем же оно дается человеку?

Есть люди, которые сумели отделаться от совести, избавиться от нее, отсутствие ее нисколько не мешает им жить, они чувствуют себя даже комфортно без нее, ничего не грызет их.

Лихачев считал совесть «таинственным явлением».

Действительно, рациональное объяснение ему подыскать трудно. Чувство это иррационально, в этом его сила и в этом беспомощность перед холодными соображениями эгоизма. Я никогда не мог объяснить, зачем оно дано человеку, необходимо ли оно, но человек без совести – это ужасно.

Для меня в этом смысле одно из самых сильных стихотворений Пушкина «Воспоминание», написанное в 1828 году. Кончается оно так:

«...Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю».

Нет ничего труднее, чем отказаться от самооправданий.

Требования совести, ее суд, ее приговор происходят втайне. Ничто не мешает подсудимому, который сам себя судит, уклониться от приговора. Пушкин отвергает любое снисхождение, не дает себе пощады, даже слезы раскаяния не помогают. Мы не узнаем, за что он казнил себя, но признание это поражает своим мужеством.

На уроках литературы изучают Пушкина, но не учат тому, что совесть для него, для Лермонтова, для Толстого, для Достоевского была реальностью, что у человека есть душа, тоже весьма реальное понятие, надо заботиться о ее здоровье, стараться понять, что происходит с ней.

Работая над «Блокадной книгой», мы с Адамовичем были потрясены блокадным дневником школьника Юры Рябинкина. В нем предстала история мучения совести мальчика в страшных условиях голода. Каждый день он сталкивался с невыносимой проблемой – как донести домой матери и сестре кусок хлеба, полученный в булочной, как удержаться, чтобы не съесть хотя бы довесок. Все чаще голод побеждал, Юра мучился, и клял себя, зарекаясь, чтобы завтра не повторилось то же самое. Голод его грыз, и совесть грызла. Шла смертельная непримиримая борьба – кто из них сильнее. Голод растет, совесть изнемогает. И так день за днем. Голод понятно, но на чем же держалась совесть, откуда она берет силы, что заставляет ее твердить вновь и вновь: нельзя, остановись!

Единственное, что приходит в голову: она есть божественное начало, которое дано человеку. Она как бы представитель Бога, его судия, его надзор, то, что дается человеку свыше, его дар, что может взрасти, а может и погибнуть.

Она не ошибается.

Для нее нет проблемы выбора.

Она не взвешивает, не рассчитывает, не заботится о выгоде.

Может, только согласие с совестью дает удовлетворение в итоге этой жизни.

Ведь чего-то мы боимся, когда поступаем плохо, кого-то обижаем, не по себе становится, если обманем, сохрем. Словно кто-то узнает. Совесть сидит в нас, словно соглада-тай, судит – плохо, брат, поступил.

Мартин Лютер, самый решительный теолог, заявлял, что совесть – глас Божий в сознании человека. Глас этот звучит одинаково для всех, и католиков, и православных. Может, и вправду совесть досталась нам от первородного греха, от Адама?

Совестью обладает только человек, ее нельзя требовать от народа, государства.

В доме престарелых Степан Лаврентьевич, мой старый знакомец по «Ленэнерго», откровенничал. Мы с ним выпили совсем немного, по немощи и возрасту ему хватило, что-

бы закуражиться.

– Ты думаешь, старикинская жизнь – пожрать, поспать у телевизора, отосраться... Старость зачем нам дана, зачем? Вот я, к примеру, установил, что злодеи, они были долгожители. Если их не приканчивали. Посмотри, наши вожди последнего выпуска: Ворошилов или, допустим, Молотов, Каганович – это же патриархат, мать его дери. Все старперы, под себя ходили, все кряхтели, упирались, ждали, не повернется ли на прежнее. Я так думаю, что Господь наказывает долгой жизнью. Наказывает! Чтобы человек вспомнить мог свои безобразия.

И дальше пошел тяжелый рассказ Лаврентьича про своей грех перед покойной женой, как она лежала полтора года после инсульта, а он гулял, пил, блудил со всякой швалью, имена упоминал, говорил спокойно, но пальцем помахивал, перечисляя свои грехи, только вот слезы скатывались медленно, невпопад.

– Как поправить, скажи мне, как? Я все думаю, ведь не поправить, что толку молить и каяться. Я готов теперь сидеть при ней день и ночь, да где она? Нет ее. Что даст мое покаяние? Ничего не поправить. Говорят, покаявшийся грешник самое дорогое. Для Господа, может, это годится. Может, он и простит. Да мне от этого не легче. Мне от себя прощения не найти. Так и подохну... А все от того, что задержался. Нет, старость – это есть самый подлинный ад. Я ведь и родителей вспомнил, как я забросил их, только на похороны приезжал.

И то, чтобы барахло с братьями делить... Меня надо в клетке возить: вот он, подлец образцовый!

Если забыть, что было со страной, что творили с людьми – значит, утратить совесть. Без памяти совесть мертва, она живет памятью, надоедливой, неотступной, безвыходной.

Совесть существует: это реальность сознания, это принадлежность души и у верующих, и у неверующих. Совесть была во все времена.

С вопросом о совести я подступался к самым разным людям – психологам, философам, историкам, писателям...

Их ответы меня не устраивали. Удивлялись тому, что после всех потрясений, когда перед народом открылась ложь прежнего режима, ужасы ГУЛАГа, преступления властей, никто не усовестился. Ни те, кто отправляли на казнь заведомо невиновных, ни доносчики, ни лагерные надзиратели. Их ведь было много, ох как много, кто «исполнял». Старались забыть. И новые власти всячески способствовали скорейшему забвению.

Подобные рассуждения, однако, не проясняли проблем совести. Для меня самыми интересными оказались разговоры с адвокатами, перед людьми этой профессии часто открываются муки совести. Или наоборот – снимается маска с бессовестной души. Меня заинтересовала твердая убежденность одного блестящего адвоката, умницы, человека на-

блюдательного. Он верил, что совесть – чувство врожденное. Либо оно есть, либо его нет. Существует как бы ген совести. В одной и той же семье один ребенок порядочный, совестливый, стыдится своих проступков, другому хоть бы что: и соврет, и украдет, и обманет. Соглашаться с ним не хотелось. Если врожденное, то обделенный не виноват, что с него взять. И в то же время случаи, приведенные им, были неопровержимы.

«Почему так жестоко пьют у нас?» – спрашивал он меня. Он считал, из-за совести. Заглушить ее, избавиться от проклятых воспоминаний. Грехов накопилось множество. То, что творилось в стране, и то зло, что творили, даром не проходит, оно сказывается и вот таким образом.

Все же мне не хочется считать бессовестность врожденным пороком. Патология, наверное, бывает, но чаще я видел, как цинизм разрушал человеческие души. А еще у самого хорошего человека бывают причины, когда его вынуждают согнуться, промолчать – его дело, его семья, да мало ли что. «Несчастлива страна, – говорил Брехт, – которая должна иметь героев».

Апостол Петр, о котором думал студент в рассказе Чехова, не был героем, но совесть мучила его, он казнил себя, он плакал, и эти слезы спустя тысячи лет заставляют плакать и ощущать свою душу.



В апреле всегда есть несколько дней, когда по Финскому заливу можно ходить без рубашки, залив еще подо льдом и тянется до горизонта, лыжни тянутся во все стороны, сахарятся, подтаивают, лучше всего идти по целине. Мы ходили на лыжах, загорая, далеко, доходили до рыбаков, они сидят целый день на деревянных ящиках, ловят корюшку. Когда идешь туда, спина в тени, мерзнет, а груди жарко, постоишь – лыжи липнут, снег все время чуть подтаивает, но нет ничего счастливей этих нескольких солнечных зимне-летних дней.

Когда чествовали знаменитого физика лорда Кельвина, он ответил признанием, что всю его работу за пятьдесят пять лет можно было бы определить одним словом «неудачи», то есть именно они не давали ему покоя.

В далекой-далекой от нас деревне молилась учительница: «Господь! Ты, учивший нас, прости, что я учу, что ношу звание учителя, которое носил ты сам на земле, дай мне единственную любовь – любовь к моей школе, пусть даже чары красоты не смогут похитить мою единственную привязанность.

Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не плоть от плоти мо-

ей, дай мне превратить одну из моих девочек в мой совершенный стих и оставить в ее душе мою самую проникновенную мелодию в то время, когда мои губы уже не будут петь... Озари мою народную школу тем же сиянием, которое расцвело над хороводом твоих босых детей».

Эту молитву приносила учительница маленькой деревенской школы в Чили, на берегу Тихого океана, много позже она получила как поэт Нобелевскую премию, поэтому и стала известна ее молитва. Многие другие учителя или учительницы безмолвно молятся теми же словами, они хотят, чтоб их слова проникли в души детей, а это становится все более и более непросто. Конечно, редко к учителю приходит такое уважение, признание, какое пришло к этой учительнице, которую мы знаем под именем Габриэлы Мистраль. Профессия учителя, наверное, более трудная и сложная, чем профессия врача, врачу помогают лекарства, помогают законы медицины, общие законы для всех организмов, несмотря на их индивидуальность. Для учителя этих законов почти нет, он должен вслепую нащупывать, определять свой путь к душе класса и к душе каждого ученика. Класс, он тоже имеет свою личную неповторимость, свой характер, свою физиономию. Но самое трудное – добраться до школьника, до этого маленького человека, и тем более подростка. Мы все признаем, что профессия учителя трудна и ответственна, но до сих пор учитель в нашей стране наименее почитаемая, может быть, самая невыгодная работа.

«Партийная собственность не наворована, она складывалась десятилетиями за счет взносов», – убеждали нас.

Почему не наворована, именно наворована. К примеру: партийное издательство «Лениздат» всегда бессовестно обкрадывало писателей. Огромные доходы от продажи книг (а гонорар-то крохотный, а бумага – по льготной цене, а работа в типографии – копейки) шли в партийную кассу. За счет этого (не упоминая другие источники) жили и райкомы, и горкомы, катались на машинах, имели пайки, особые санатории, клиники, пошивочные ателье, все у них было особое. Общим с нами были только вода из водопровода да электричество. А что имел от своих взносов рядовой коммунист? Ничего. Он платил эти подати до конца своих дней, его постоянно проверяли: не утаил ли он какого-то приработка. Нас, писателей, в райкоме контролировал специальный инструктор, он запрашивал все журналы, газеты СССР, театры, киностудии, издательства – посылал им списки писателей, выявлял, кто обманывает партию. Выявит, и начинается проработка в назидание всем остальным.

На выставке (декабрь 1956 года)

В Эрмитаже выставка Пикассо. И мечтать не могли. Залы полны молодежи. Душно, шумно, как на премьере в фойе. Наверняка Эрмитаж еще не видел такого разгоряченного зрителя. Выставка уже пятый день, толпа спорщиков не убывает.

Студенты, офицеры, доценты, врачи – публика самая пестрая.

- Пикассо – гений!
- Пикассо – псих!
- Нет, вы скажите, вы можете мне объяснить, что тут нарисовано?
- Искусство нельзя объяснить.
- Но понимать-то надо.
- Каждый вкладывает свое, как в музыку.
- Во всяком случае это интересно.
- Это заставляет думать.
- Это распад искусства.
- Правду писали, что Запад гниет.
- К Пикассо надо привыкнуть, надо подняться от нашего соцреализма.
- Приведите сюда колхозника, разве он что-нибудь поймет.

Спорить конкретно не умеют, кричат, переходят на

оскорбления.

– Глупости вы говорите, а еще интеллигент.

– Все ваши Шишкины и Айвазовские – это старье, для пивных.

– Искусство должно быть народным, не для вас, ученых.

– Это художники будущего. Шишкина – в кладовку.

И так до вечера. Но слушать весело, приятно. Вместо книги отзывов ящик, куда опускают записки. Кто-то прикалывает к стене.

«Чувствую себя, как на корабле, качает и бежать некуда».

Под этой запиской ответ:

«Беги на выставку А. Герасимова».

«Разговорились! Я бы вас за такие разговорчики...

И. Сталин».

Спустя два дня вызвали нас в горком – «О воспитательной работе с молодежью».

Говорил секретарь парткома Электротехнического института. Возмущался, что на выставку ленинградских художников работы поступают без отбора. Возмущался выставкой Пикассо, студенты читают Библию, роман «Не хлебом единым».

И это человек, который ежедневно среди молодежи... Неудивительно, что партия рухнула. Ничего не понимала, не слышала, не видела. Если не славят, значит, не те люди. А почему не славят? Почему? Что происходит?

Выступление Хрущева на XX съезде было для меня первым благородным поступком советского руководителя за всю историю СССР. Другого я не знаю. Кто из них совершил что-то мужественное, милосердное, кого-то спас, защитил? Кто? Было ли что подобное?

Большая часть студенческого времени уходила на изучение философии, вернее, ее истории, где один философ опровергал другого, каждый был убедителен, мудр, мыслил неожиданно. Затем математика – тонкие математические приемы. Химические превращения формул. Было множество предметов, которые могли пригодиться, но никогда тому не выпадало случая. Однажды спросил начальника КБ, приходилось ли ему пользоваться «косинусом»? Пожевав губами, начальник, ему было за 50 лет, нарисовал треугольник, почеркал его, вспоминая. «Пожалуй, ни разу», – признался он.

Считалось, что все это нужно для общего развития, но с большим успехом можно было бы разгадывать ребусы, решать шахматные задачи, головоломки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.